



И. И. ЯНЖУЛ

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

<...> С. М.¹ в конце вечера отвел меня в сторону и сообщил мне интимным образом: «Вот вы теперь едете в Лондон, как сообщили, где скоро будет мой сын Володя. Знаете вы его?» Я сообщил, что видел лишь один раз. «Он мальчик хороший, — сообщил почтенный историк, — но жить еще не умеет, проживает очень много от неопытности; его обирают. Не будете ли вы так добры, если встретитесь, а это, наверное, возможно, если пожелаете, позаботиться об его устройстве и помочь ему ввиду его неопытности. Вы меня очень обяжете, и я буду покойнее, зная, что около него будет человек, дружелюбно расположенный помочь ему в случае нужды». При этом он подозвал свою супругу, которая подтвердила его просьбу. Разумеется, я обещал со своей стороны оказать возможную любезность Вл. С., насколько это будет от меня зависеть. Как я объяснил вполне точно отцу, мое знакомство с сыном, Владимиром Сергеевичем, в то время ограничивалось лишь одним каким-то мимолетным свиданием, причем он меня заинтересовал своей обаятельной симпатичной наружностью и веселым детским смехом, который, впрочем, раздавался изредка. Все же, что я о нем слышал тогда в том кружке, где я вращался, скорее говорило против него, нежели за. Магистерская диссертация его «Против позитивистов»² претила мне уже потому, что я сам был немного позитивист, а самое главное, в Москве все открыто рассказывают, что Вл. С. приятель Любимова и Леонтьева, явных врагов своего [sic!] почтенного и уважаемого родителя, и не стеснялся-де бывать там, где на него (т. е. отца) открыто клеветают. Насколько это было правда, я, конечно, не знаю, но несомненно, что уже дальше, при встрече своей со мною за границей, Вл. С. не скрывал своей близости с кружком, для меня крайне противным, — «Московских ведомостей» и даже раз, по какому-то не помню случаю, предлагал мне на-

ивно протекцию у Любимова!!!³ — Итак, я имел относительно личности и достоинства молодого Соловьева аргументы и за и против него — отношение, весьма далекое от того обожания всех его качеств, которое образовалось в последние годы его жизни в кружке «Вестник Европы», к которому отчасти, пожалуй, примкнул и я ввиду огромных перемен, заметно в нем происшедших, в самом улучшении всего его нравственного облика. — Нужно было так пошутить судьбе, что первое знакомое лицо, которое мы с женою увидели в Лондоне по приезде, был именно Владимир Соловьев. Утром мы приехали в Лондон <...> через Дувр. Вечером после обеда вышли с женой прогуляться на одну из лучших лондонских улиц «Picadilly» и у одного из ближайших магазинов увидели, почти одновременно, длинную меланхолическую фигуру Вл. С., задумчиво взирающую на какой-то предмет за стеклом, и около него юркую фигуру, несомненно еврейского происхождения, ныряющую во все стороны. Мы окликнули; оказалось, действительно он. Из расспросов, давно ли приехал, что поддельвает, оказалось, что он тоже приехал лишь сегодня, но в отличие от нас, проживавших в дешевых комнатах м-рс Сиггерс, он остановился в дорогом аристократическом отеле, где в нему немедленно заботливой администрацией при гостинице был приставлен, в качестве новичка, чичероне, русский еврей, чуть не за фунт в день, который не отпускал его ни на минуту из своих цепких лап, сопровождая всюду в ознакомлении с городом. Я немедленно заявил просьбу отца, чтобы жить где-нибудь с ним поближе, если не вместе. Вл. С. без всякого разговора на это согласился, упомянувши, что также имел об этом уведомление. Таким образом, в тот же день он переселился по соседству с нами в одну из свободных комнат м-рс Сиггерс и сделался постоянным нашим завсегдатаем и товарищем до самого отъезда нашего из Лондона, месяца три или четыре. <...>

Все мы очень сдружились, несмотря на значительную разницу вкусов, направлений и состояний, относились взаимно дружелюбно и проводили все время сообща. Ковалевский был решительный позитивист, друг Вырубова⁴ во Франции и Гаррисона⁵ в Англии; Соловьев — мистик и антипозитивист. Я ближе подходил по своим воззрениям к Ковалевскому, но до некоторой степени чуждался некоторых его выводов и специально всегда был равнодушен к вопросам политики, придавая гораздо большее значение экономическому моменту в жизни человека и общества. В этом пункте, если угодно, мне кажется, Соловьев ближе стоял ко мне, чем М. М. [Ковалевский]. Он с удовольствием, как я убедился не раз впоследствии, читал социалистов и других фантазеров

по экономической области, но всегда старался придавать всем их построениям религиозную подкладку. Мы не раз с ним, припоминается мне, например, читая отца Ноэса⁶ и книгу Нордгофа⁷ об американских коммуннах и общинах, до некоторой степени сходились с Владимиром Сергеевичем и различались только толкованием. Он признавал будущее лишь за религиозными общинами Америки, вроде «шекеров»⁸. «Онеида»⁹ его сильно интересовала, но, например, «Новую гармонию»¹⁰ он решительно отрицал, тогда как я за нее стоял и т. д. М. М., обратно с нами обоими, был совершенно равнодушен к подобным вопросам, но придавал всегда огромное значение и любил поговорить о истории учреждений — [об] их влиянии на нравы и обычном праве. <...>

<Из письма Е. Н. Янжул¹¹:> «Странный человек этот Соловьев... Он очень слабый, болезненный человек, с умом, необыкновенно рано развившимся, пожираемый скептицизмом и ищущий спасения в мистических верованиях в духов. Во мне лично он возбуждает симпатию и сожаление; предполагают, что он должен сойти с ума, потому что слишком много работал мозгом для своих лет. Когда я его увидела в первый раз, он меня поразил своим мрачным аскетическим видом. Совершенно противоположность с ним составляет наш другой новый знакомый, Ковалевский. Одних лет с ним, он, однако, представляет собой фигуру, равную моему супругу по размерам и подает надежду на дальнейшее усовершенствование. Его веселый характер и простые развязные манеры составляют тоже не меньший контраст со сдержанностью погруженного в себя философа. Эта простота в обращении заставила двух толстяков очень скоро сойтись, тем более что толстяк Ковалевский, по мнению толстяка Янжула, обладает необыкновенными для своих лет сведениями и очень светлым взглядом на вещи». <...>

Вл. С. не раз серьезнейшим образом сообщал FrI. фон Штудниц¹² и Е. Н. Янжул в виде особого или специального знака доверия, что он во всех решительных и важных случаях своей жизни поступает согласно указанию и совету духа одной «нормандки» XVI или XVII века, которая является к нему по желанию и дает надлежащие указания, как действовать или чего ждать. Повторяю опять, что он это сообщал несколько раз и притом самым категорическим образом, сторонясь нас — мужчин, которые поднимали его за подобные сообщения на смех. Вообще, милый и симпатичный человек, особенно каким он сделался в последнюю половину своей жизни, Вл. С. представлялся несколько ненормальным в ту эпоху, когда я с ним встретился в Лондо-

не и работал вместе в Британском музее. Целые часы, как я за ним иногда следил в музее, как он работает, он сидел по соседству, над какой-то книгой о Каббале¹³ с курьезными, диковинными рисунками и значками, совершенно углубленный и забывающий, что делается вокруг. Сосредоточенный, печальный взгляд, какая-то внутренняя борьба отражалась на его лице почти постоянно. Он сидел от меня настолько близко, что я имел возможность много раз наблюдать эту картину. Когда я к нему обращался с вопросом: «Что, Владимир Сергеевич, о чем задумались?» или «Как вам интересна ваша книга, которую вы так долго читаете? Почему вы ее не перемените?» и т. п., я получал от него такие ответы: «Я ничего... в высшей степени интересно; в одной строчке этой книги больше ума, нежели во всей европейской науке. Я очень доволен и счастлив, что нашел это издание».

Самоуглубленный Вл. С. нередко буквально забывал обедать, и когда моя жена, взявшая его под свое попечение, часто допрашивала: «Да вы обедали ли, Владимир Сергеевич, сегодня?» — [он отвечал:] «Нет, я забыл, да, кажется, и вчера я не обедал». Мы пробовали брать его с нами обедать в то время в так называемые «Tea-shops» или «Tea-house(s)», где было только ограниченное число блюд, обыкновенно из мяса, и мясо полусваренное и полужаренное, изредка пудинги (с тех пор лондонские кухмистерские значительно улучшились). От подобных обедов из одного мяса он решительно отказывался, большею частью оно ему было противно; рыбу еще иногда ел, но ее не всегда можно было найти, кушаний из плодов не было, а потому приходилось волейневолей, не меняя собственного режима, отказываться от его общества и предложить ему ходить в более дорогие рестораны, с лучшим и более богатым выбором; тем не менее он часто забывал это сделать, если ленился по отдаленности всех лучших ресторанов от Британского музея. В самом музее собственного ресторана тогда еще не было. <...>

<Из письма Е. Н. Янжул:> «Сегодня у нас будет кутеж. Ковалевский задумал угостить нас, Соловьева и кое-кого из других знакомых обедом <...>».

Помню я замечательную сцену одного вечера. Соловьев просматривал свежий № «Русских ведомостей», жена готовила чайную посуду, а я подогревал воду, сидя около камина, как вдруг Соловьев разразился неудержимым хохотом: «Ха! ха! ха!» — «Владимир Сергеевич, что такое смешное, расскажите скорей нам». В ответ на это опять раздался его столь милый детский хохот, вызывающий невольно такой же отклик, но на этот раз с добавлением нескольких совсем не детских слов: «Ах, какие ду-

раки... можно ли быть такими глупыми?!» — «Что такое, расскажите, пожалуйста, в чем дело?» — повторяли мы с женой. Я не помню, был ли тут Ковалевский, или только мы с женой. «Представьте себе, в хронику московских происшествий занесен следующий случай, — отвечал он. — Отходники приехали очищать помойную яму в одном доме, открыли люк очень глубокой ямы и колодца, которые давно не чистили, и туда сначала отправился один рабочий, не долез, свалился и, конечно, пропал. На его поиски был отправлен другой рабочий, и повторилось то же самое: рабочий полез, упал от вредных газов в обморок и свалился; наконец третий — и только после трех несчастий люди образумились, остановили чистку, проветрили люк, бросили туда огонь и т. п., прежде чем принялись за чистку, и вытащили трех мертвых товарищей из этой ужасной ямы. Не странные, не глупые ли это люди?! Ха! ха! ха!» Мы оба с женой набросились на Соловьева: «Владимир Сергеевич, это так на вас не похоже, на ваше доброе сердце; что вы находите тут смешного, что смеетесь чуть не до истерики?.. Конечно, это действия нелепые, но ведь рабочие влезли в зловонную ужасную яму не для своего удовольствия, а из-за куска хлеба, который этим трудом добывают. Им приказали лезть, они были только исполнители. Не правильнее ли винить бессердечных, глупых хозяев, которые так неосмотрительно предпринимает работы, наконец, начальство, которое подобное ведение чистки позволяет». Я не помню точно, что нам возражал на наше замечание Вл. С., но он все-таки стоял на своем, что это все очень глупо и смешно и что, во всяком случае, не стоит и не следует так много огорчаться этим происшествием, когда увидел встревоженное и огорченное по данному поводу лицо моей жены. «Чем хуже, тем лучше», — заметил Соловьев. «Как вы полагаете, что для этих рабочих лучше, что они умерли такой ужасной смертью?!» — «Нет, я хочу сказать, что вообще здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить, и чем человек испытывает больше неприятного и дурного в этом мире, он получит сторицею в том!!!? Позвольте, я вам расскажу одну русскую народную легенду¹⁴; подобного замечательного произведения ни один европейский народ не создал». Мы, конечно, попросили его рассказать, и вот что он нам в сжатом виде передал из содержания этой легенды: «Когда-то Христос с учениками, путешествуя по земле, пришел в одну деревню к вечеру уже на ночлег. Постучался в одну избу, его не пустили, прогнали; в другую, в третью — то же самое... Собаками травили!.. Наконец пришел в последнюю бедную избушку на конце деревни, где жил бедняк, имевший

всего лишь одну коровенку. Бедняк вышел из избы, когда подходил Христос с учениками, поклонился ему до земли и обмыл ему по тогдашнему обычаю ноги, принес чашку молока, ложку, краюху хлеба, и сказал: «Кушайте с Богом, что имею, простите, что мало, больше нет». Потом принес сена, постелил, где можно, и предложил гостям спокойно спать. На другое утро Христос с учениками ушел от гостеприимного хозяина и из деревни. Вдруг на выгоне, откуда ни возьмись, серый волк, и спрашивает Христа: «Я голоден, Господи, где мне поесть?» Тот говорит: «Ступай в последнюю избу, на краю деревни, там у мужика одна корова, ты ее зарежь». Все ученики в негодовании: «Господи, что Ты делаешь?! Один добрый человек нашелся в деревне, нас угостил чем Бог послал, а Ты у него последнюю корову отнимаешь!!!» «Малoverные вы, малoverные, — ответил Господь, — чем здесь хуже, тем там лучше. Чем тяжелее мужику будет здесь, тем с большей сторицей он будет награжден на небесах!» Нам с женой оставалось, конечно, только пожать плечами от такой странной, своеобразной логики по данному поводу, и мы решительно протестовали как против величия русского народа благодаря сочинению такой легенды, так и против системы оправдания самого неуместного смеха о людском горе и несчастье Владимира Сергеевича. <...>

<Вл. С. Соловьев> в то, по крайней мере, время людей очень мало сожалел и мало придавал значения, по-видимому, самым важным человеческим интересам.

<Вл. С. Соловьев в отношении женщин> отличался значительной долей цинизма и большой также любовью к скабрёзным анекдотам. <...>

Я не помню, по какому предмету речь коснулась Белинского, к которому я всегда, особенно в молодости, благоговел, как вдруг Вл. С. воскликнул: «Что такое Белинский? Что он сделал?.. Я уже теперь сделал гораздо больше, чем он, и надеюсь в течение жизни уйти далеко от него и быть гораздо выше...» Хотя было уже очень выпито и, может быть, поэтому я не удержался, слушая подобное самохвальство, и заметил Соловьеву, что «стыдно так говорить о самом себе, лучше подождать, когда другие вас признают ему равным!!!» Как вдруг на мое замечание, к высшему моему конфузу — это происходило в общем зале, очень наполненном публикой, — Вл. С. разразился рыданиями, слезы потекли у него обильно из глаз. Я немедленно попросил извинения, Ковалевский с своей стороны всячески старался потушить его волнение, и мы немедленно уехали домой. На другой день, однако, Соловьев встретился с нами в Британском музее как ни в чем не

бывало, и когда я вновь извинялся за то, что вызвал вчерашнюю сцену, он только засмеялся, и тем и кончилось, по-видимому, без влияния на наши добрые отношения. <...>

Вообще, довольно странные выходы замечались в то время за милым и симпатичным, каким он сделался впоследствии, Соловьевым, которые совсем как-то не вяжутся и трудно примирить с его добрым, необыкновенно сострадательным характером второй, последней половины его жизни, когда он попал в кружок «Вестника Европы». Как раз, например, в то самое последнее время, придя однажды к Соловьеву в гостиницу «Angleterre», против Исаакиевского собора, где он жил продолжительное время, я сделался свидетелем такой трогательной сцены: небольшая комната Соловьева имела обыкновенную форточку, которая была отворена настежь, и из нее валил холодный воздух морозного утра. Это было зимой. Множество голубей летало по подоконнику взад и вперед. Вл. С., легко одетый, в накинутом на ночной рубашке пальто, щипал булку французского хлеба и бросал голубям, которые без церемонии вырывали хлеб у него чуть не из рук. Комната быстро наполнилась холодом, и он, очевидно, простужался. На все мои напоминания об опасности для его здоровья такой раздачи голубям продовольствия он только смеялся своим милым смехом и запер окно, выбросивши полхлеба прямо на подоконник, когда я, наконец, напомнил ему о моем личном опасении за собственное здоровье от такого голубиного угощения.

